

СКРИПКА ВРЕМЕНИ

■
Вступление и перевод с английского
АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО

Что молвить о Лоуэлле?

Вижу его, высокого, остраненного — посреди гулкой аудитории, или в гостиной, или на опустевшей предутренней улице, — вижу его, слегка склонившего голову к левому плечу, так что подбородок чуть касается шеи.

Мне всегда кажется, что он играет на скрипке.

Скрипка невидима. Его веки полуприкрыты. Он вслушивается в музыку, которая обычно называется Историей, Человеческим бытием, Летой. И иногда морщится, когда оркестр особенно дисгармоничен.

Партитура его сложна. У него свой мир, своя логика.

Когда-то в стихах, посвященных ему, я сблизил по звуку слова «Лоуэлл» и «колокол». Бешеный фанатизм проповедника, порой барокко, а порой метафизика XVII века, нарочитая старомодность английского лада, порой мифология, порой трогательность Чехова и Флобера — соседствуют у него с дерзким экспериментом. На экранах его телевизоров всплывают головы, подобные игрушкам из надувной резины, и автомобили обретают плавники. Критик Альварес писал о поэте: «Поэзию его нельзя растолковать и понять досконально, нужно уметь быть благодарным, что существует некто, записавший такое».

Роберта Лоуэлла называют крупнейшим поэтом современной Америки. Он лауреат Пулитцеровской и других премий. Много занимался русской поэзией.

«Калигула» — одна из знаменитейших его вещей. В римском тиране, прозванном «Сапожком», за обувь, которую он носил в детские годы, запечатлена гибель детства.

В других стихах, по мотивам Элизабет Бишоп, провинциальная портниха видится ребенку как Навуходоносор, которого бог лишил разума, поставил на колени и сделал травоядным. А какая острая деталь булавки в портнихином рту! Хищная восхищенность внешностью выдает художника «от бога».

Переводя, я рискнул употребить «черный хлеб», — не думаю, чтобы автор знал черняшку, но мне кажется, это дает графику, условность детства.

Блестящая его книга «Вариации». Именно так, а не «Подражания» переводится заголовок «Имитейшнз». Это «темы и вариации», в них эхо Гомера и Вергилия, нашего Пастернака и Расина. Лоуэлл замыкает их с собой, с современностью. Так Пикассо варьирует Веласкеса, Родион Щедрин лукаво импровизирует на темы Бизе.

Культура — не остров, а взаимосвязь с культурой соседних времен и народов. Невозможно представить себе, чтобы Пушкин, например, не читал французских или Байрона в подлиннике. А Лермонтов? А Блок? А многие ли из наших коллег могут в подлиннике прочесть творения современников? Мы мало знаем соседей по поэзии. Туманны для нас материки У. Х. Одена, Тэда Хьюза, не говоря уже о молодых. Только сейчас широкий читатель наш получил романы Камю, а для Запада загадочны имена Олеси, скажем, или Заболоцкого.

В «Вариациях» Лоуэлл сближает культуры. Он относится к истории и культуре как к природе, которая сама есть предмет искусства. В переводах он всегда поэт, всегда Лоуэлл. Подлинная поэзия нуждается в свободе, в личности. Любимые стихи переписываются в тетрадь своим почерком. Не в крохоборстве, а в сути сходство. Как у Пастернака: «Поэзия, не поступаешь ширью, храни живую точность, точность тайн...» Это относится и к переводам.

Вот несколько моих переводов из Роберта Лоуэлла.

Калигула

Мой тезка, Сапожок, Калигула,
давным-давно, еще в каникулы,
твоя судьба меня окликнула,
и впилась в школьные миндалины

рука с мерцающей медали,
где бедный профиль злобно морщится,
как донышко моих возможностей!

Великолепнейший Калигула!
Уродец, взвитый над квадригой,
чье зло — наивная религия.
Мой дурачок, болезненное детство
просвечивает сквозь злодейство.
Как нервный узел оголимый —
принц боли, узник, скот, Калигула.

Детсад Истории. Ты — пленник
еще наивных преступлений,
кумир, посадка соколиная,
каленный уголек — Калигула.

Вождь двадцатидевятилетний,
добро и зло презрев, дилеммой
в мозгу, не утихая, тикает
боль тяжелейшей паутиной.

Живу я ночь твою последнюю,
к тебе в опочивальню следую.
И пальцы узкие убийцы
мне в шею впились, как мокрицы,
следы их, как улитки, липки...

А над тобою, как улики,
у всех богов — твои улыбки.
Ты им откокал черепушки
и прилепил свой лик опухший,
с кудряшками, как мамалыга.
Кликуша. Хулиган. Калигула!
Взывая к одноликой клике,
молись, Калигула, Калигула.

Читаю: «Тело волосато,
затмил пирами Валтасара».
Читаю: «Гримом рот замаран,
и череп лыс, как бюст из мрамора».
Ты, тонкошей, думал, шельма:
«Всем римлянам одну бы шею».
Мразь гениального калибра,
молись, Калигула!

Малыш, ты помнишь, как, зареванный,
ты в детстве спал, обняв звереныша.
Сегодня ни одна зверюга
с тобой не ляжет. Нету друга.
А ляжет юноша осенний,
тобой задушенный в бассейне.

Забрызган кровью бог Адонис —
Нарцисс, Калигула, подонок!

И в низкий миг тебя из мрака
пронзит прозрение зигзагом.
Ты все познаешь. Взвоешь криком —
бедняга, иволга, Калигула!
Лежи, сподобленный нездешнему,
в бассейне ледяном и траурном,
катая ядра августейшие,
пока они не станут мраморными...

Молись за малыша, Калигула,
не за империю великую,
за мальчика молись.

Скулило
зверье в загонах. Им спокойней.
Они не знают беззаконий
и муки, свойственной тиранам.
Мы, все забрав, — себя теряем.
Молись за наше время гиблое,
мой тезка, гибельный Калигула.

Стон

(Отрывок)

А мама платья траурно носила —
все черный креп да белый креп.
И горе было буднично и сиро —
как черный хлеб и белый хлеб.

Однажды, побледневшая, под утро
приехала. В столовой свет зажгла
и в платье злобно-пламенном из пурпура
застыла, поджигая зеркала.

Вокруг портниха, гмыкая гундосо,
булавки поедала на полу —
безумная, как Навуходносор,
на четвереньках щиплющий траву!

А утром зазывалы барабанили
и продавали книжки в корешках,
на них позолоченными гербами
плясали люди в огненных шелках.

Горело галунами и штанами
до тошноты красивое шитье...

Я только помню — мама застонала.
И больше мы не видели ее.

Уроки

Не уткнуться в «Тэсс из рода д-Эрбервиллей»,
чтоб на нас иголки белки обронули,
осыпая сосны, засыпая сон!..

Нас с тобой зазубрят заросли громадные,
как во сне придумали обучать грамматике.
Темные уроки. Лесовые сны.

Из коры кораблик колыхнется около.
Ты куда, кораблик? Речка пересохла.
Было, милый,— сплыло. Были, были — мы!

Как укор, нас помнят хвойные урочища.
Но кому повторят тайные уроки?
В сон уходим, в память. Ночь, повсюду ночь.

Память! Полуночица сквозь окно горящее!
Плечи молодые лампу загораживают.
Тьма библиотеки. Не перечитать...

Чье у загородки лето повторится?
В палец уколвши, иглы барбариса
свой урок повторяют. Но кому, кому?

